

Илья Рудяк

Хижина дяди Лёвы

Поезд подошел к вокзалу и остановился прямо у его дверей. Повеяло югом и домашностью.

– Дальше Одессы поезда не идут! – услышал я прокуренный голос мужчины в кепке. У него был вид встречающего именно меня, долгожданного гостя, друга, товарища.

– Дядя Лева, – представился он и просунул руку в окно вагона. Я пожал ее.

– Молодой человек желает отдельную комнату или койку?

Мы шли к его мотоциклу с коляской, и я любопытствовал, как он высчитал, что я не санаторный, не командировочный, а именно «дикарь».

– Молодой человек! Человек, едущий из Москвы в плацкартном вагоне, в белой рубашке с закатанными рукавами, – это мой клиент.

Мотоцикл быстро прикатил нас на улочку, упирающуюся в море.

– Чудеса в Одессе! – сказал дядя Лева, уловив мой восхищенный взгляд. К дому вела аллея, обсаженная абрикосовыми деревьями и увитая виноградными лозами.

– Хижина дяди Лёвы! – и широкий жест с поклоном.

О, Райт, о, Корбюзье, о, Росси! Что по сравнению с вашей архитектурной мыслью фантазии дяди Лёвы из Одессы? Причудливые пристройки вокруг дома, над домом, под домом не имели ни начала, ни конца. Это был лабиринт, выход из которого вел только в карман хозяина.

– Деньги – вперед, рабочий народ! – спел он и рассмеялся.

Я получил, как заверил меня дядя Лева, лучшую хибарку в самом закутке и с видом на море.

– Нихто нэ баче, нэ мишае, как говорят в Одессе, – амыхае!

Ко всему, он любил еще и рифмоплетствовать.

– Молодой человек побежит сразу к морю – это естественно. Совет дяди Лёвы: пройдите по муравейнику и выберите одинокую девушку или женщину на собственной подстилке, положите

свои вещи рядом и вежливо попросите посмотреть за ними, пока не искупаются. Вы никогда не услышите «нет», а все остальное зависит от вас самого. Вперед, и танки наши быстры!

Я выполнил совет дяди Левы как самый послушный и аккуратный ученик. Мои скромные пожитки, а вместе с ними и я, побывали за короткое время то на простыне, то на длинном и узком коврикe, то на старом выцветшем одеяле, и даже на шикарном махровом полотенце с заграничным клеймом. Знакомства заводились мгновенно. К принесенным мною эскимо на палочках, пиву, сладкой водичке прибавлялись котлеты, пахнущие чесноком, молодая картошечка, пересыпанная укропом, свежие огурчики, помидоры, вишни, черешни, арнаутский круглый хлеб с поджаристой корочкой.

Это были райские дни в Одессе. С утра до вечера на море, а по субботам и воскресеньям – на Староконном рынке.

Среди клеток с попугаями и кенарями, среди аквариумов с экзотическими рыбками, между ящиками с морскими свинками и нутриями, возле мешков, набитых степной травой для кроликов, у груды хлама и заржавленных гвоздей, замков и старых канотье, карманных часов с застывшими навеки стрелками – расположились, возвышались, главенствовали книжники!

Монтень и земляк Бабель, мадам Блаватская и маркиз де Сад, «Золотое руно», в полном комплекте и отдельные томики Эжена Сю, «Лолита» Набокова, Генри Миллер, Арцыбашев – спокойно лежали на виду!

Милиционеры, расхаживающие по рынку, подыскивали чтиво для своих отпрысков.

Я не верил своим глазам. Я был поглощен Староконкой. Вскоре я уже знал всех книжников по именам и кличкам. Экзистенциалисты – у Марика, оккультное – у Гнома, альбомы – у Доктора, и все, что очень кусалось, – у Акулы. Они были оригинальны, темпераментны и неуступчивы в ценах. Я оставил у них последние сбережения. Отпуск подходил к концу, а впереди меня ждали работа и длинные московские дожди.

Последний день у моря я провел на полосатом рядне. Его упитанная хозяйка ласково повторяла:

– Рядно широкое, располагайтесь удобнее!

Но случаю желательно было омрачить мой восторг и удачу. Я заплыл далеко за волнорез, наслаждался простором и, отдыхая на спине с закрытыми глазами, ощущал, как солнечные блики просвечивают кровь в венах, образуя красно-огненное зарево. Вернувшись на берег, я не обнаружил в кармане своих брюк перстня. Перед купанием я его всегда снимал. Это был старый серебряный перстень с красивой вязью инициалов моей прабабки. Он переходил в нашей семье из рук в руки и наконец попал ко мне как подарок мамы. Вмиг я понял, как зыбко счастье. Хозяйка рядна была сконфужена, перерыла весь песок вокруг и причитала:

– Не может быть, не может быть! Я загорала и никуда не уходила. Не может быть!

Я верил ее искреннему отчаянию, но мое было еще больше. Кто-то заметил, что я прятал перстень, и украл его. В этот раз я с грустью оглядел людской муравейник и понял всю безнадежность поисков.

Дядя Лева, выслушав на прощальном ужине мою новость, вышел на минутку из хибарки и вернулся с большой бутылью розового вина.

– Только в исключительных случаях, – сказал он, показывая на бутыль, – «Лидия Петровна», из лучшего сорта винограда «Лидия».

Мы выпили в тот вечер не один стакан «Лидии Петровны». Терпкое ароматное вино усыпило меня, и я проснулся поздно утром от осторожного стука в фанерную дверь. Дядя Лева вошел в комнатку, держа на жгутике, просунутом сквозь жабры, огромную рыбу.

– Молодой человек, у вас в Москве-реке такие водятся?

Я не знал, что ответить, но понял: не похвалиться пришел дядя Лева.

– Хочу, чтобы вы привезли ее вашей мамаше от дяди Левы из Одессы.

Я опешил.

– Протрите глаза, и пойдёте выпускать из нее кишки, иначе она провоняет весь вагон.

Мы вышли во двор. Дядя Лева положил рыбу в широкий таз с водой, принес длинный, как кавалерийская шашка, нож, всунул его мне в руку и скомандовал, хохоча:

– Шашки наголо!

Я взял нож и впервые в жизни пырнул жирное брюхо рыбы. Оно податливо разошлось, и из него вывалились слизь, икра, кишки и... мой пропавший фамильный перстень.

О, Одесса! Где могло еще такое случиться? Кто еще хотел бы защитить честь своих земляков, чтобы приезжий москвич не подумал о них плохо? Где? Только в Одессе!

Дядя Лева чувствовал себя именинником. Упаковывая рыбу, густо пересыпанную солью, в кулек, он с удовольствием смаковал детали своего рассказа.

– Молодой человек! Когда вы мне сообщили: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о потерянном браслете» – то есть перстне, – признаюсь, я это принял близко к сердцу. А я не люблю его слишком волновать.

Он ловким движением снял рубашку с майкой вместе, и я увидел на груди глубокие рубцы от ранений.

– Это было под Прагой, второго мая, в сорок пятом. Но дело, видите, не в том. Сегодня утром, в шесть, я уже был на Привозе, у рыбного корпуса. Я нашел там Мишку Шепелявого, моего старшего знакомого, и сказал ему, что, если перстень у меня не будет через полчаса, он забудет про свой промысел навеки. Шепелявый успокоил меня и позвал своих байстрюков, что орудут на пляжах. Они вывалили на его китель вчерашний улов, и среди браслетов, часов, сережек лежал ваш серебряный перстень, молодой человек!

Теперь поезд отправлялся от двери вокзала в другую сторону. Дядя Лева провожал меня. Я смотрел на него иными глазами. Я видел в нем неотъемлемую часть Одессы, ее соль, ее дрожжи. С его уходом она станет намного беднее.

Поезд тронулся. По другой колее приближался встречный. Дядя Лева помахал мне кепкой, и я успел еще заметить, как он подошел к окну остановившегося вагона и протянул кому-то руку.

Я искренне позавидовал неизвестному «дикарю».

Знакомство

В первый день моего приезда в Одессу я познакомился ...с Остапом Бендером, точнее, с его бледной тенью. У меня в записной книжке было несколько адресов, по которым я должен был найти наших родственников.

Я обратился в трамвае к соседке по сиденью:

– Скажите, пожалуйста, где мне найти «Стол справок»?

– Вежливый молодой человек, остановка после того, что я вижу, – будет Преображенская. Ви чуть-чуть пройдете и окажетесь на Дерибасовской. Там возле Городского сада, рядом с кинотеатром Уточкина есть справочная будка – туда не идите, а чуть выше возле фотографии сидит на стульчике за весами старый еврей. У него ви получите точные сведения нащот как найти адреса в два раза дешевле.

Я поблагодарил и пошел по ее указке.

Улица Преображенская – называлась Советской Армии, кинотеатр Уточкина – им. Маяковского, слава богу старый еврей оказался на месте. На его весах висела табличка.

«Куда, где, что – только через весы».

Я стал на весы.

Они показали пятьдесят семь с половиной килограмм.

– Для вашего роста – мало. Вам надо кушать побольше рыбы и фруктов. С вас двадцать копеек.

Я расплатился.

– Как попасть в переулок Нечипуренко?

– Слезайте с весов и становитесь снова. В Авчинниковский, так он назывался раньше, надо идти...

И он мне быстро разъяснил путь.

Я сам без напоминаний повторил процедуру трижды. И услышал живой рассказ об улицах Одессы всего за один рубль.

Соль Одессы

Думаю, что Изю Бирбойма знала вся Одесса. То, чего нельзя было достать в аптеках, у Изи лежало в накрытом старым ковром сундуке, служившем ему и кроватью. Он жил в полуподвале

на углу Екатерининской и Жуковской. Новые наименования улиц он не признавал. До революции у отца его, Мануса Бирбойма, была аптека, соперничавшая с Гаевской. Изя собирался продолжить семейную традицию. Большевики установили новую: «Грабь награбленное!».

Бирбоймы полностью обнищали. Старик вскоре скончался. Сестра Мириам вышла замуж на румынского провизора, часто бывавшего в Одессе. Вместе с мамой они уехали в Бухарест. Изя с трудом устроился в аптечный киоск на морвокзале. Он остался холостяком, у него была астма и страсть к книге. Страсть особая: Пушкин. В благополучные гимназические годы на дни рождения ему дарили Пушкина. У него собрались прижизненный «Евгений Онегин», «Записки де Оршиака», «Дуэль» академика Щеголева, шеститомник Брокгауза и Ефрона с золотым тиснением. В тридцать седьмом вышли «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина» Вересаева. Достать их было невозможно. В это время у Караимова, директора книжного в Круглом доме на Греческой, заболела девочка, ее мог спасти только пенициллин. Вспомнили о Бирбойме. Бухарестский свояк переслал лекарство с моряком из Констанцы. В знак благодарности Караимов вручил Изе четыре фолианта в папках с барельефом поэта.

С этого, пожалуй, началась новая миссия скромного чудаковатого Изи Бирбойма. Природная интеллигентность не позволяла ему наживаться на чужом горе. Он почувствовал радость быть нужным. Его «клиентом» мог быть и учитель, и портовая проститутка, и участковый «мусор».

Ему делали подарки книгами, коробками конфет, хорошим вином. О его «гешефтах» знали и наверху, но не трогали – до поры до времени. Однажды к нему обратилась дворничиха Муся, соседка по полуподвалу. У нее было четверо приبلудных детей, мал мала меньше. У грудного мальчика обнаружили бронхоненит. Необходим был порошок паск. Изя нашел его. Муся отблагодарила его.

Ранним июльским утром к нему пришли трое в фуражках с синими околышками и предъявили ордер на обыск. Понятой была та же Муся.

В один мешок они побросали всего Пушкина, в другой – улики из сундука.

И увели Бирбойма на Бебеля.

Он проходил как румынский шпион. Неделью подряд следователь Шевчук клал перед Бирбоймом на стол отобранный ингалятор и требовал фамилии, имена, явки.

– Исак Манусович, зря отпираетесь.

Изя хватал воздух открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег, и тянулся к трубке. Шевчук резиновым шлангом с размаху бил по руке.

Следовал обморок. Его уносили в камеру-жаровню. На восьмые сутки, когда открыли дверь, он лежал перед ней мертвый, с обезображенным от удушья лицом.

Французский ингалятор Шевчук отнес комиссару второго ранга, у которого тесть страдал астмой.

Крик

У мальчиков-близнецов великана Арона Киршенбойма, председателя районного Осоавиахима, были первые двухколесные велосипеды, первый приемник, первый настоящий кожаный футбольный мяч. Сонечку, миниатюрную красавицу жену, он одевал в крепдешины и меха. Ранние помидоры, огурцы, арбузы сразу попадали на стол к Киршенбоймам.

Друг к другу они обращались только «Сонечка» и «Арончик». «Идеальная семья!» – с восхищением говорили о них в местечке.

А когда после войны Арон, кавалер двух орденов Славы, стал заведовать местной пекарней, к белому хлебу в доме не хватало лишь птичьего молока. Ежегодно он отправлял Сонечку на курорты, а один раз они вместе попали даже за границу, в Болгарию.

Додик и Бусик с отличием окончили школу, и Арон повез их в политехнический, в Киев. Он не уехал домой, пока не увидел фамилии детей в списках поступивших.

В том же году Сонечка родила девочку. И жизнь засияла по-новому. В благодарность Арон купил ей в Одессе колечко с бриллиантом в десять... тонн пшеничной муки.

Но небо не всегда бывает безоблачным. Арон, возвращаясь на мотоцикле со склада «Заготзерно» после обильной выпивки, зарулил в глубокий яр и очнулся уже в больнице.

Его парализовало.

Сонечка и дети показывали его известным врачам, возили в грязелечебницы, к знахарям, но улучшений не наступало.

Арон нервничал, считал, что они жалеют деньги, требовал консилиум. Опять рентгены, изнурительные перевозки, бессонные дни и ночи.

Его окончательно привезли домой, и Сонечка превратилась в терпеливую внимательную сиделку, в нянечку, в сестру милосердия.

Арон лежал на чистой постели, ухоженный, не давая ни минуты покоя ни Соне, ни Нюсеньке, ни приехавшим на каникулы сыновьям:

– Я работал, как вол, чтобы вас одеть, обусть, чтобы выучить вас, дать вам роскошную жизнь. И что же теперь? Когда я так пострадал, когда я превратился в кусок глины, вы ходите в кино, на танцы, на гульки. Вы не успеваете отойти от кровати – и забываете про мои мучения. Сядьте и сидите возле меня весь день, иначе я вас всех прокляну! Куда ты убегаешь, Нюся? Соня, верни ее! Я привяжу вас веревками к моим ногам, может, вам передастся моя боль, мои страдания! О, готеню, боже мой, так надо было так выкладываться, столько отдавать времени, рисковать, чтобы в пятьдесят лет уйти в землю, глядя, как вы, здоровые, молодые, живете и наслаждаетесь на ней. Нет, этого я не вынесу! Соня, утку! Чего так медленно? Отвернитесь. Или вам приятно смотреть...

Так повторялось изо дня в день. Сыновья, жалея маму, не могли дожидаться возвращения в институт. Девочка забивалась в угол и плакала, а Сонечка терпела и отмалчивалась.

Ко всему Арон стал еще и ревновать ее.

– Где ты так долго была?

– В аптеке, где я еще могла быть?

– До аптеки от нас две минуты ходьбы, а тебя не было ровно сорок три.

– Я взяла слабительное, а Мирон Давидович спросил о тебе, так я не могла же сразу уйти.

– Этот старый фарцер давно положил на тебя глаз. Ты всегда была его симпатией, а теперь, когда я прикован и не могу ему оторвать голову, он пользуется этим. Но и ты хороша – вертишься перед ним, как сучка перед кобелем.

Казалось, это предел всему, но Сонечка выбегала на кухню, роняла голову на стол и рыдала, повторяя:

– За что, за что?

Так прошли четыре года.

Сонечка боялась признаться самой себе, но ждала уже смерти мужа.

Неожиданное кровоизлияние у Арона приблизило развязку. Агония длилась долго. В минуты просветления он открывал глаза, полные гнева, ненависти, и проклинал всех и вся.

Так он и ушел из этого мира с криком, обращенным к жене и детям, обступившим его:

– Ир золт брениен! Чтоб вы горели!

У Сонечки давно все охладело внутри, и она не проронила ни одной слезы. Дети ее обняли за плечи и молчали.

Похороны были с духовым оркестром от Дома офицеров. Памятник Сонечка поставила ему не хуже, чем ставят другим.

Но никогда больше не появлялась на могиле Арона.

Эр рэт аф идиш

Мои фамилия, имя и отчество: Срулевич Моисей Юделевич.

Представляете, как это звучит для русского уха? И особенно если ты после школы попадаешь в погранвойска. Единственный еврейский юноша на весь округ. При перекличке фамилия вызывала взрыв смеха.

Старшина Войтенко выговаривал строю, что нехорошо смеяться над фамилией солдата... Срулевича (смех перерастал в гогот), и с удовольствием повторял ее снова (гомерический хохот).

Значительно позже я понял, почему меня с пятым пунктом призвали служить в ведомство КГБ: в восемнадцать лет я имел сто восемьдесят семь роста и девяносто веса.

Загребел бы я в какую-то Коми АССР охранником в лагерь.

Спасло чистописание. Я был прирожденным каллиграфом. Вот такое редкое сочетание «Дяди Степы» и «Графа Мышкина». И тут я был нарасхват. Оформлял красные уголки, выписывал удостоверения, грамоты...

Вскоре перевели меня из Измаила в Одессу. Писал адреса в обком, в Киев и даже лично Андропову по случаю его шестидесятилетия.

Одесса! Почти три года беззаботной и неповторимой, уже потом, жизни. Оставалось время и на море, и на танцы в парке Шевченко, и на театры, особенно оперетту. В те годы был взлет славы Михаила Водяного.

А теперь – к чему веду рассказ.

Читаю на афишных тумбах: «Певица Нехама Лившицайте. Еврейские песни». Мне, племяннику дяди Эзры Шварца, кантора нашей Джуринской синагоги, да не пойти? Когда еще выпадет такой шанс?

Отправляюсь за несколько дней до начала гастролей за билетом, а они все проданы. Пришлось попросить моего начальника посодействовать.

– Заговорила родная кровь, Срулевич?

– Давно не слышал ничего на еврейском.

Позвонил он в филармонию. Представляю, какой там стоял переполох. Билет, притом бесплатный, в центре первого ряда, ждал меня в кассе.

Выгладил я свою синюю форму (костюма ведь у меня не было), начистил до блеска ботинки, надраил на фуражке кокарду и отправился на концерт.

Такое собрание евреев я увидел впервые. И каких евреев!

Музыкантов в бабочках, художников с длинными волосами, старых меломанов с аккуратно подстриженными бородками.

А женщины!

Я среди всех выглядел синей вороной. Но передо мной расступались, шушукались за спиной, вымученно улыбались.

Соседка слева, дородная мадам с пенсне на носу, застыла, когда я сел рядом, и косила глазами не переставая.

Сосед справа, старичок, опирался на палку с набалдашником в виде льва и раскланивался со многими: «Здгавствуйте, добгый вечег, добгого здоговьечка!». Все обращались к нему: «Доктор Циклис!» – а завидя меня рядом, быстро-быстро ретировались.

Он же, подняв высоко голову, смотрел на меня с удивлением. Мое присутствие создало напряженную атмосферу в зале.

До меня доносилось:

– В зале кагэбэшник!

– Он следит за доктором Циклисом.

Все взоры были обращены на меня. Я почувствовал себя ништ гит.

Как разрядить обстановку? Не могу же я встать и сказать им, что я такой же еврей, как и вы, что я помню до сих пор песни на идиш, что я пришел насладиться музыкой.

Я попросил у соседки программку. Она неохотно протянула ее мне.

Я стал читать вслух: «Варнычкес», «Ломир зих ибербейтн», «Шир а гаширим»...

– Ир рэт аф идиш?

– Авадэ, конечно.

– Эр из аид, эр рэт аф идиш! – крикнула она, вставая.

По залу от первого до последнего ряда прошла волна:

– Эр рэт аф идиш!

...Нехама Лившицайте была на высоте в ударе. Пела она замечательно. Чистый голос, великолепное произношение, выразительные руки!

В перерыве меня затащили в буфет и накормили досыта – «голодненького, бедненького еврейского солдатака».

После концерта доктор Циклис повел меня с собой за кулисы и представил певице. На сцене она казалась мне высокой, а здесь – красавица-подросток. Я попросил надписать открытку.

– Впервые вместо показаний, даю чекисту автограф. Такое бывает нор ин Адес, – пошутила она.

Полковник Булыгин спросил меня на следующий день:

- Ну как тебе «Варнычкес»?
- Вкусные, товарищ полковник!
- Наши там были. Отчет имею. А что она написала тебе на открытке?
- «На добрую память, с любовью. Нехама».
- Красавец (с ударением на последний слог), иди, пиши поздравление Щербицкому с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.
- Такая была мелиха!

Буйная любовь

- Я не стал речным портовым служащим.
Меня привлек другой портовый город – Одесса.
Мечта моя сбылась. Я поступил в театральное училище. А кроме этого – море!
- Весь сентябрь и половину октября я наслаждался им. Заплывал далеко, а возвращаясь, отдыхал у буйка, держась за толстый пеньковый канат.
- В один из таких дней, уставший, лежа на спине и глядя на закатное солнце, я услышал рядом:
- Помогите...
- К буйку, выбиваясь из сил, плыла девушка. Я протянул ей руку и подтянул к себе.
- Она обхватила меня ногами и застыла. Худенькая, светленькая, синеглазая, чуть не плача, тяжело дыша, она, не отпуская меня, прошептала:
- Спасибо...
- Ее бил озноб.
Я прижал ее поближе.
- Теперь вы в безопасности.
- Мы познакомились. Она приехала из Ярославля на просмотр артисток балета в оперный.
- Посмотрите, парус!
- Я обернулся.
- Это рыбацкая шаланда.

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
«Доброе дело! Хорошее дело!»
Чтоб звезды обрызгали
Грудю наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...

Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море!
Вор на воре...

– Кто это написал?

– Багрицкий.

Я сел на своего конька. Читал стихи, стихи, стихи...

Она меня обняла. Мы целовались, не переставая. Мы прижались друг к другу. Мы почувствовали близость оголенных тел и...

Оказалось, что в воде это естественнее, приятнее, романтичнее.

Наступили сумерки. Мы поплыли к берегу. Ни ее, ни моей одежды и обуви там не было.

Мы слишком увлеклись и забыли, что мы на одесском пляже. Прав был Багрицкий.

Инга снимала в Аркадии каморку с еще одной «дикаркой», Екатериной.

Мы быстрым шагом направились туда. Ее напарница уже забеспокоилась и долго хохотала, узнав про кражу.

Меня облачили в женский халат. Я в знак благодарности сочинил экспромт:

Я возмущен, я в раже:
Нас обокрали на этом пляже.
Спасибо, Инга! Спасибо Кате –
Я убегаю в ее халате.

Инга проводила меня на трамвай. Прыгнув на подножку, я услышал, как в кармане халата звякнула мелочь.

На следующий день после занятий, завернув в халат торт «Отелло», я поехал в Аркадию. На двери каморки висел замок. В него была вложена записка.

«Конкурс не выдержала. Поезд отправляется в 11 утра. Завтра вечером в Ярославле я танцую в «Золушке». Спасибо за Багрицкого!..»

И несколько раз перечеркнуто что-то, а в конце – адрес владелицы халата.

Я отправил его вместе с тортом вдогонку – посылкой.

Кроссовки

Наконец решил посетить «родные пенаты», точнее – родные могилы в Одессе, и Исаак Бельский. Он оттуда уехал ровно двадцать один год назад. Многие его друзья, знакомые уже побывали там, впечатления были разные, но в одном сходились все: той Одессы уже нет, и жить там они бы точно не смогли. Давали советы: что с собой взять, как себя вести на таможне, стараться не выделяться, наличные деньги в гостинице не оставлять.

Лева Шапиро конкретно настаивал:

– Кэш спрячь в старые поношенные кроссовки.

Он решил прихватить с собой две тысячи. В банке попросил выдать двадцать сотенных – они пойдут в тайнички. На мелкие расходы подготовил синглс, пятерки и десятки.

Первый конфуз произошел в аэропорту Оухера, в Чикаго. Нужно было обязательно снять обувь на контроле. Две тоненькие стопки купюр Изя положил в конверты, запечатал их и накрыл сверху стельками от плоскостопия. Гард пропустил кроссовки через рентген, достал конверты, пощупал, улыбнулся и положил обратно. «Пронесло!» – обрадовался Исаак.

По прибытии в Варшаву и Одессу деньги перекочевали в пиджак. Гостиница «Моцарт» напротив оперного оказалась не настолько уютной, как рекламировали. Начиная от швейцара в красном одеянии на входе до уборщицы в номере все смотрели в руки и ждали чаевых.

Исаак решил осмотреться, а потом составить на две недели план, куда и когда.

Натянув на себя джинсы, надев кроссовки с двумя тысячами, накинув куртку на плечи, он завернул за угол и сразу попал на Дерибасовскую. И он ее не увидел – на тротуарах до самой Преображенской не было пустого свободного метра. Примыкая друг к другу, расположились кафе, бутики, ресторанчики, киоски, обменные пункты. В Городском саду скульптуры двух знаменитых львов перекрывали полотна доморожденных художников, столы с матрешками, хохломскими ложками, гжелью, поддельными шкатулками из Мстеры, Палеха, Холуя, лотки, лотки, лотки. Покупали мало, но жизнь кипела.

Он прошел на Ласточкина, а оттуда на Гоголя к Атлантам. Вид на море перекрыл ресторан перед Тещиным мостом. А на месте старинного мавританского дворца с башенками и узкими бойницами, покрытыми зеленоватым мхом, стоял выкрашенный в белый цвет, приглаженный, разрисованный современный «монстр», обведенный железной оградой и воротами с компьютерной системой входа и выхода.

Здесь, в бывшем, как теперь стало ясно, Доме творчества, он, Исаак Натанович, после института проработал библиотекарем в нотном отделе девять лет.

– Ну как? Нравится? – услышал вдруг за спиной Бельский.

Он повернулся и увидел типичного кагэбэшного дядьку в штатском, охранявшего, как оказалось, частный «Банк».

– Ничего, – ответил Исаак.

– Проходите, проходите!

Так он бродил по городу до самого вечера. Перед тем как вернуться в номер, поужинал в шумном ресторанчике «Галушки» и все же в неплохом настроении, уставший, поплелся отдыхать, ощущая под ногами две тысячи долларов и землю, на которой он когда-то родился.

Гаванная почти не была освещена, но до «Моцарта» оставалось метров тридцать.

Неожиданно его затащили в темный подъезд и приставили к шее нож. Их было двое. Один босой, другой в тельняшке, заметил Исаак.

– Не двигайся, америкашка! Жора, обыщи!

Тот залез в куртку и вытащил бумажник. Там было сорок пять долларов, паспорт и обратный билет. Он забрал только деньги.

– А где остальные?

– У меня «виза», и она в гостинице, – сообразил сказать Исаак.

– Снимай кроссовки!

– Почему именно кроссовки? Берите куртку...

– Куртку возьмем тоже. Она мне подходит. А кроссовки будут Жорику – ты же видишь, он босой.

Изо охватил страх, и он пролепетал:

– Не могу же я прийти в носках...

– Ух, какой интеллигент, – и ударил под дых.

Исаак свалился.

– Теперь будет удобнее снимать.

Вмиг кроссовки оказались у Жоры. Он стал всовывать ногу. Было тесно. Выбросил стельку. Выпал конверт.

– Братан! А тут нам письмо.

Тот надорвал его – и выпали деньги. Пересчитал.

– Жорик! Кусок! Смотри в другом.

– Еще один!

– Молодец, Исачок! Разделил для нас поровну.

«Откуда он узнал мое имя? Из паспорта, что ли?» – мелькнула мысль.

– Слушай, засранец! Чтоб ты не думал про одесских воров плохо, возьми свои кроссовки, и я тебе дарю на мелкие расходы – сотню.

– Я тоже, – сказал Жора.

Они помогли ему встать. И скрылись.

Исаак хихикнул, а затем начал истерически смеяться.

«Какая прелесть! Я невредим, я жив, кроссовки при мне, и двести долларов на руках. Пойду и напьюсь!»

Он никому не сказал о краже, побывал на могилах дедушки, бабушки, родителей, старшего брата Мусика. Сумел за взятку на оставшиеся от Жорика и его друга деньги поменять билет и в тот же день улетел на Варшаву, а оттуда домой в Америку.

